

Леонид Николаевич Андреев

Мои записки

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Леонид Николаевич Андреев

Мои записки / Леонид Николаевич Андреев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 64 с.

ISBN 978-5-4241-2930-8

В прозе Леонида Андреева причудливо переплелись трепетная эмоциональность, дотошный интерес к повседневности русской жизни и подчас иррациональный страх перед кошмарами `железного века`. Любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека - вот главные темы его повестей и рассказов, ставших одним из высших достижений русской литературы начала XX столетия.

ISBN 978-5-4241-2930-8

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Леонид Николаевич Андреев
Мои записки

Часть 1

Мне было двадцать семь лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики – когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили: есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращения к самим себе; но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и «человека-зверя», каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко: был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства.

Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея¹. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям: нет, они были совершенно правы, совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи: и как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, не *правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности*. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу: откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков; и после упорных стараний мне удалось наконец найти одну такую комбинацию фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невинность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишненное страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии: говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления.

И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном, юношеском отчаянии восклицал: «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?» (См. мой «Дневник заключенного» от 29 июня 18...)

Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь пять-шесть лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но, помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не в праве просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова: «жертва судебной ошибки», как выражались, к моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там где, при совокупности определенных данных, нормально устроенный и развитой мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу.

Я осужден справедливо, хотя и не совершал преступления, – такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы.

И единственная цель, какую руководился я при составлении моих скромных "Записок", это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, – человек, существо высшего порядка, обладающее и разумом и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, *осужденный на смерть*, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию – и красоту². Некоторые из посетителей моих упрекают меня в «надменности», спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать: жестокие в недомыслии своем, они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет, – как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но – увы! – бесплодную гибель. И если тон моих «Записок» иногда может показаться благосклонному читателю *слишком* решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих.

Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой "Дневник заключенного", неизвестный читателю; но дело в том, что полное опубликование "Дневника" я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушения всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной.

О цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил, но не желал бы я твоего возвращения, о цветущая юность! Только с сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию,

какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.

Часть 2

Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже – да простится мне эта маленькая нескромность! – даже преклонения перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшихся над моей головою и побеливших мои волосы, не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мною роковые двери.

Не одаренный литературным талантом³, я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя в ту давнишнюю пору.

Это был почти юноша, 27 лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья – все это придавало юному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности.

Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, фамильной черте, унаследованной мною от матушки и нередко мешавшей мне внимать советам людей более опытных и зрелых, а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве, самом по себе и хорошем, но становящемся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована.⁴

И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невинности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в дверь и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головою о стены и часами лежал в беспмятстве на каменном полу камеры; и в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства⁵. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной мезтью, наконец всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкою и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в черную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость.

В некоторое оправдание могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившихся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием я узнал, что девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моею женой,

вышла замуж за другого. Она, одна из немногих, верила в мою невиновность, еще при последнем прощании она клялась оставаться мне верной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви, – и вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, которого я знал, человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять, насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству, – сам присужденный к длительной смерти, я хотел, чтобы и она, неизвестно для чего, поделила мою участь⁶. В настоящее время госпожа NN – счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак.

Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь принуждают ее нарушить данное обещание, – это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее следы ее нежных пальцев письмо показалось мне посланием самого дьявола.

Огненные письма жгли мой измученный мозг, и в диком иступлении я сотрясал двери моей камеры и звал неистово: "Приди! Дай мне только взглянуть в твои лживые глаза! Дай мне только услышать твой лживый голос! Дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу и в твой предсмертный крик влить мой последний, горький смех" (см. "Дневник заключенного" от 14 дек. 18...).

Из приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство: воистину они прозревали во мне убийцу.

Мрачности тогдашнего моего мирозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через два года после брака моей невесты, а, следовательно, после моего заключения в тюрьму через три, умерла моя мать, и умерла, как мне передавали, от глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было неиссякаемым источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически, и все свое огромное состояние, послужившее будто бы мотивом к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели.⁷

Теперь я понимаю, что, как бы ни велика была ее скорбь, одной ее было недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко не был примерным мужем и семьянином и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого, смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вы-

звала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий.

Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под давлением совершенно естественных причин: забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствию общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно-горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню.

"Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали: вы оставили меня одного? Разве мыслимо оставлять человека *одного*? Даже у змеи есть товарищ, даже у паука есть подруга, – а человека вы оставили одного. Дали ему душу – и оставили одного; дали сердце, разум, дали руку для пожатия, уста для поцелуя – и оставили одного! Что же делать человеку, когда его оставили одного?" – так восклицал я в «Дневнике заключенного», терзаясь горестными недоумениями. В юношеском ослеплении своем, в боли молодого, неразумного сердца я все еще не хотел понять, что одиночество, на которое я так горько жалуюсь, подобно разуму, есть *преимущество*, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чуждого взора святые тайны его души.⁸

И, называя друзей моих "вероломными изменниками, предателями", не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому не вечны ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель: как друзья, родные, мать и жена, в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени *возвращаются обратно*. Никто не закапывается вместе с мертвецом, никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу, и если горестная жена восклицает, обливаясь слезами: «о, закопайте меня вместе с ним!», то этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния⁹. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали.

Законам жизни, а не смерти и не поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным *вымысел*? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием подчиняющих себе как движение небесных светил, так и беспокойное сцепление тех крохотных существ, что именуются людьми!

Припоминаю при этом не лишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей, студентом второго курса. В группе с товарищами-однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного, уже пожилого человека. Помню то отвращение, с каким первона-

чально услышал я гнилостный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересной работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре, в один из увлекательнейших вечеров, когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем – обратного шествия материи от жизни к смерти, от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам вещества. Долго в экстазе, который я осмелюсь назвать религиозным, любовался я трупом, сам своей неподвижной фигурой, со скальпелем в одной руке, с другой рукою, поднятою ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так даже в юные годы случайной гостьей навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться.

Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему повествованию.

Часть 3

Так печально прожил я в тюрьме пять или шесть лет.

Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда я всего менее мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искусства и страдания я открыл во всех явлениях жизни, да рассеет перед вами ту прозрачную мглу, которую люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. Внешней неприличности дальнейшего повествования послужит оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл.

Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом "гнусном пороке"¹⁰, к которому я естественно приведен был всей совокупностью обстоятельств.

Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность бороться далее с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным объектом своих одиноких любовных вождлений я сделал ее, мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, с наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. И время, которое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, одинаково оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний: если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог бы передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности, тоски ожидания и радости мгновенных тайных встреч. И могу уверить, что эта повесть была бы несколько не хуже, не короче, не менее реальна, чем то, что мог бы рассказать нам о своей жизни с г-жой NN ее фактический муж.

Этот случай, сам по себе, быть может, и не столь значительный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего порядка, обладающий не только инстинктом, но и разумом, я могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвой мучительной неудовлетворенности.¹¹

Второе, – это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак, – что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, что бегство из тюрьмы для меня немислимо.

Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном¹². Отчаявшись в осуществлении одного плана, я немедленно создавал другой, но, конечно, не подвигался